

Я забыл спросить у Лешки...

Рассказ

Мы вошли в город уже утром. Он стоял спокойный и выспавшийся, но мы уже ничего не замечали, ничего не слышали и не чувствовали. Мы шли посреди дороги, и нас обгоняли машины, не сигналив, не требуя посторониться, на нас оборачивались люди и провожали нас взглядами, какие появляются у человека только при встрече с большим несчастьем. Носилки уже не казались тяжелыми, спать не хотелось, не было усталости — было лишь липкое и тяжелое равнодушие, которое съело все наши мысли и чувства. Если бы Андрей упал сейчас на дорогу и закричал самым диким криком или стал биться головой о камни, я бы несколько не удивился и с тупым безучастием стал бы ждать, чем все это кончится.

Мы не знали, где в городе больница, но мы и не спрашивали об этом. В таких случаях больница сама должна выйти навстречу человеку. Мы не торопились. Было поздно торопиться, и у нас не было сил — все убила дорога, длинная и холодная, и то, что случилось в дороге.

Еще год назад мне нередко снились сны, страшные, как несчастье. Когда я просыпался и находил себя целым и невредимым, я по странной привычке протягивал руку и сжимал воздух в своей ладони, благодаря жизнь за то, что она здесь, рядом со мной. Быть может, и это тоже сон, слишком затянувшийся только потому, что я никогда еще так не уставал. «Если это сон, — решил я, — ни за что не вспомню то, что произошло за последние сутки».

Нет, я все это помню. Вчера тоже было утро, светлое и прозрачное, как окно ярко освещенной комнаты, когда на него смотришь из темноты. К восьми часам мы подошли к тому месту, где обрывалась лента дороги, ко-

торую мы вели, но никого еще не было, и мы уселись на жесткую траву, по-старушечьи сторбившуюся в ожидании снега. Андрей закурил, а мы с Лешкой смотрели, как дым от его папиросы поднимается вверх и тонет в красках воздуха и леса. Мы сидели лицом к дороге и видели, как молчали деревья, склонив свои головы, беззвучно оплакивая тех, кто еще вчера стоял рядом с ними. Это были огромные лесины, лежащие неподвижно, и сверху на них неторопливо падали листья.

— Кому ты вчера писал письмо, Лешка? — спросил Андрей.

— Матери.

— А Ленке?

— Она еще не ответила.

Лешка покраснел. Андрей понимающе улынулся, а я подумал о том, что он мог бы ни о чем и не спрашивать, раз Лешка сам пока ничего не знает.

Со всех сторон мрачный, как заговорщик, наблюдал за нами лес.

Это случилось примерно через час после того, как мы начали работу. Я стоял в стороне и все видел. Сосна была очень высокая. Все время, пока пила вгрызалась в ее тело, она дрожала мелкой, боязливой дрожью, потом смирилась, успокоилась, слегка поклонилась своей зеленой остроконечной шапкой в ту сторону, куда ее хотели повалить, и вдруг, будто спущенная пружина, рванулась обратно, туда, где Лешка вырубал кустарник. Я слышал, как кто-то из пильщиков крикнул коротким и сильным, как удар боксера, криком. Земля глухо ойкнула и сразу же замолчала, будто приготовившись к новому удару. Лешки не было. Я прыгнул и еще в прыжке увидел, как гот вскочил с земли, как к нему со всех сторон бежали люди.

Лешка стоял перед нами, глупо улыбаясь, смущенный тем, что из-за него все побросали работу.

— Пустяки, — забормотал он, виновато краснея, — веткой задело. Пустяки. Вы не беспокойтесь. Я не знаю, почему упал, — наверное, от страха. А так не больно.

И все сразу заулыбались и заговорили, все, кроме мастера, который выругался сочным, как луковица, ругательством и пригрозил вместо обеда накормить нас правилами по технике безопасности.

Через десять минут мы все разошлись по своим местам, радуясь тому, что товарищ наш так счастливо отделался, а еще через полчаса ко мне подошел Андрей и сказал, что с Лешкой что-то неладно. Он сидел на той самой сосне, которая сбила его с ног и, задрав рубашку, смотрел, как синий круг медленно, словно чернильное пятно на белой скатерти, расплзается по его животу.

— Что, Лешка? — спросил я и почувствовал, как меня давит боязнь беды.

— Ничего, ребята, ничего. — У него был вид школьника, вернувшегося домой после драки с разорванной рубашкой. — Ноет немножко, но до обеда пройдет. Честное слово, я знаю, у меня всегда так. Это не опасно. Вы идите, а я полежу чуть-чуть и буду помогать вам. Идите, ребята, идите.

Мы пошли к мастеру. Тот поднял на лоб свои медвежьи брови и плотно придавил одну к другой губы. Он молчал минуты две, потом сказал, что до больницы почти пятьдесят километров, а трактор все равно должен работать, если бы даже свалилась половина бригады. Я зло ткнул взглядом в чащу мрачного леса. Андрей тоже рассердился.

— Мы все трое из одной школы, — сказал он как бы некстати.

Но мастер понял его и, кажется, даже обрадовался тому, что выход найден.

— Вот вы и пойдете. Возьмите с собой плащпалатку и топоры.

Мы уходили, когда солнце забралось уже высоко и горело всюю. Лешка долго не хотел ничего и слышать о больнице, пока Андрей не прикрикнул на него и не сказал, что здесь с ним придется возиться всей бригаде, а работа будет стоять. Этого Лешка не мог перенести, он всегда боялся быть для кого-нибудь помехой или обузой. Но ему как будто и в самом деле стало лучше, и он без видимого труда шел рядом с нами.

Так уходили: мы с Андреем по сторонам, а Лешка посредине.

На тридцать километров растянулась эта дорога. Два с половиной месяца тащили ее

на себе, с трудом поднимая в горы и так же с трудом спуская вниз, где лежала вечно сонная и ленивая сырость мхов и кочек. Теперь тридцать километров нам предстояло пройти сразу, единым махом, чтобы выбраться на другую — ровную и твердую дорогу. По ней изредка ходили машины, и она бежала до города, где находилась больница. И сюда путь не близкий — еще около двадцати километров.

Сначала мы шли молча. Я слушал, как лес, крепко обнявшись ветвями и покачиваясь в такт музыке ветра, поет заунывную прощальную песню. Лешка, наверное, думал о Ленке или злился на себя за то, что пришлось бросить работу, а Андрей... я не знал, о чем думал Андрей: он всегда был не слишком понятен нам, хотя мы и были друзьями. Он любил то, что не любили другие, и он думал и говорил подчас о том, о чем, казалось, никак нельзя было в эту минуту думать или говорить. Мы знали, что это идет у него вовсе не от желания казаться оригинальным и непохожим на других, а оттого, что он такой и есть. И на этот раз он тоже вспугнул наше молчание фразой, которую мы с Лешкой совсем не ждали.

— Будем считать, что нам не повезло, — неожиданно сказал он. — Сегодня один из его строителей потерпел аварию. М-да. — Он засмеялся и повернул к нам свое лицо с прищуренными глазами. Я видел, что это только приманка, чтобы подвести нас к старому, еще школьному спору, который мы не трогали с тех пор, как приехали сюда. Но Лешка, видимо, этого не понял.

— Пустяки, — спокойно заметил он, употребив свое любимое словечко, которое у него всегда звучало как «простите». — Один человек ничего не значит.

— Как не значит? — обрадовался Андрей. — Граждане! Немедленно вводите поправки в свои вычисления. Коммунизм запаздывает. Сбавил скорость, уважаемые граждане. Сегодня по указке личных врагов коммунизма на голову одного из его лучших строителей свалилось какое-то идиотское дерево. Здоровье пострадавшего пока вне опасности, но бесплатная выдача продуктов и товаров широкого потребления из магазинов задержится.

— Ну, что ты говоришь? — Лешка сморщился не то от раздражения, не то от боли. — Коммунизм — это тебе не автолавка с бесплатными товарами, которая в один прекрасный день подвезет все, что тебе надо для жизни. К коммунизму надо идти, и идти еще долго. Не одну пару сапог сносишь. Да, к нему

лучше идти в сапогах, а не в туфельках. Туфельки не годятся. Мы идем первые — дорогу никто для нас не заасфальтировал.

— И ты тоже надеешься дойти?

— И я надеюсь. А почему бы и нет? Пустяки.

— Не дойдешь. Ребенок ты. Как ты понять не можешь, что все это далеко-далеко, вот как солнце в пасмурную погоду — где-то есть, а не видно, не светит и не греет. Это тебе не поездом из Кубани в Сибирь приехать.

— Я знаю. Только ты-то зачем сюда приехал, если не веришь в это? Оставался бы себе дома, поступал в институт...

— Видишь ли — мы с тобой говорим на разных языках. Для тебя дорога, которую мы ведем — это дорога в коммунизм, никак не ближе, а для меня она — то, через что надо пройти, чтобы стать человеком. Я хочу быть сильным, крепким человеком, как герои Джека Лондона. На Северный полюс меня не возьмут, вот я и приехал сюда, где есть звери, где тебе на голову может свалиться лесина, где люди живут в палатках, кормят комаров и всякую другую таежную гадость. Если я пройду через это и выдержу, а потом еще пройду через две-три такие же дороги, я смогу потом уважать себя и идти куда угодно. Понятно тебе?

Лешка не успел ответить. Он вдруг сразу, в одно мгновение задохнулся чем-то страшным и вытянул вниз подбородок, чтобы не закричать. Это было то же самое, как если бы человеку вонзили нож в спину в ту самую минуту, когда он высоко взлетел в светлых и красивых мечтах. Лицо у человека еще улыбается, а сам он уже скорчился от боли. Я подхватил Лешку и осторожно опустил его на землю. Он вытянулся во всю длину и стал судорожно, обеими руками разглаживать свой живот, быстро вода по нему ладонями взад и вперед. Я сбросил его руки на землю и поднял рубашку. Среди океана синевы только кое-где виднелись островки белой кожи, которые постепенно темнели, будто подмытые снизу водой.

— Горит! — выдохнул наконец Лешка, быстро, одним слогом. Он немного помолчал и добавил с выражением чтеца, почти восхищенно, но сквозь зубы. — Ух, до чего здорово гори-и-ит!

Андрей молчал. Он, как и я, тоже испугался, и мы понимали, что теперь нам будет не до споров о коммунизме, что у Лешки что-то страшное, а что — мы не знали. Мы только видели синеву на его животе, мы только знали, что ему как можно скорее нужен врач.

Через полчаса на нас снова двинулась до-

рога. Она не торопилась вести счет метрам, и мы, шагая, злились и нервничали. Андрей шел впереди, я — сзади. Лешку мы несли на носилках, сделанных из плащпалатки и двух палок. Лешка тяжело дышал и резко вздрагивал всем телом, как человек, только что вернувшийся с мороза в жарко натопленную комнату. Одна нога у него была заброшена за палку, а другая настойчиво пыталась достать землю, но это ей никак не удавалось, и она маятником качалась в воздухе.

Мы не были виноваты в том, что с Лешкой случилось несчастье, но мы ничем не могли ему помочь, и это нас больше всего удручало. Мы видели: ему плохо, очень плохо. Мы знали: это страшно, это игра в прятки со смертью, когда ищет смерть и нет ни одного надежного места, куда можно было бы от нее спрятаться. Вернее, такое место есть — больница, но до нее далеко, еще почти сорок километров.

Мы все шли и шли, сматывая с дороги десятки, сотни и тысячи метров. Мы уже давно устали, но страх заставил нас забыть об отдыхе и гнал нас вперед и вперед. Я видел только, как качается Лешкина нога, я видел перед собой спину Андрея и деревья, высывающиеся из-за него, видел, как катится под меня дорога, и это было главным, это было экраном для меня, тем, что происходит на сцене, а все остальное — будто зрительный зал, темный и немой, как пустынная ночь.

— Я в самом деле, ребята, не смог бы больше идти, — неожиданно сказал Лешка слабым, будто подпиленным голосом, и я увидел его открытые глаза, которыми он пытался улыбнуться.

— Молчи, — потребовал Андрей.

— Нет, давайте лучше говорить, — попросил Лешка. — Ты говори, Андрей, и ты, Витка, тоже говори. О чем угодно, но говорите, пожалуйста. Так легче. Ну, давайте хоть о коммунизме. Ты не прав, Андрей, честное слово, не прав. Это не так далеко, как ты думаешь. Это ближе. И ты веришь в это, я же знаю, что веришь. А наговариваешь на себя. Ну, скажи, веришь или нет?

— Верю, — нехотя согласился Андрей. — Но все равно — это очень далеко, нас с тобой не хватит. Глупо было бы совсем не верить. Это как дерево, пока еще маленькое, но оно обязательно вырастет в громадину. Только за ним нужен особый уход. Да, особый... надо, чтобы каждый ухаживал, чтобы каждый в жару поливал его не холодной водой, а своим трудовым потом, а в мороз — согревал его теплом своей души. Именно каждый и именно так, и чтобы у человека было и то и дру-

гое. А у нас не все любят потеть и не у всех души греть могут.

— Но ведь таких мало, — возразил я.

— Нет, немало. В том-то и дело, что есть. Взять хотя бы нашего мастера. От него, если говорить откровенно, пользы для этой дороги в десять раз больше, чем от тебя, от меня и от Лешки, вместе взятых. Он специалист, а мы мальчишки, сразу после школы. Но не дал же этот мастер трактор сегодня, чтобы увезти Лешку. У него план, он для коммунизма работает, а человек хоть подыхай. Вот так. А то, что он этому самому коммунизму свинью подложил, он ни за что не поймет.

— Ребята, положите меня, — попросил вдруг Лешка, оттягивая вниз подбородок.

И снова мы стояли и смотрели, как он водит по животу руками, будто растирает мазь для загара. Лешкино лицо от боли покрывалось потом, но он не кричал, не метался, а только часто дышал, отчего тряслось все его тело.

Когда схватки боли кончились, мы опять взялись за носилки, только теперь вперед шел я. Неторопливо раздевался лес, внимательно разглядывая себя без нарядов, солнечные лучи плескались в воздушном океане, земля радовалась последнему теплу побледневшего солнца. А мы, связанные страхом, шли и шли. Впереди я, позади Андрей, между нами на носилках Лешка.

— Говорите, ребята, говорите, — долетает его шепот, и еще я слышу за своей спиной дыхание друга. — Говори, Андрей, ты хорошо говорил. Только не надо так зло. Ты говорил со злостью. Не надо злиться. Ну, Андрей?

Андрей молчит. Я понимаю его. Трудно в такую минуту говорить, особенно когда просят он — не я, а он, — гораздо легче закричать на весь лес и сломя голову бежать и бежать, пока не выбьешься из сил и не упадешь.

— Андрей! — зовет Лешка.

Андрей молчит.

Тогда начинаю говорить я. Я пугаюсь и говорю первое, что мне приходит в голову. Но мне легче: я не вижу ни Андрея, ни Лешки. Мне в десять раз легче, чем Андрею, потому что я не вижу Лешки. Я иду впереди.

— Коммунизм, — говорю я, — конечно, будет коммунизм. — Я даже пытаюсь говорить спокойно, чтобы поддержать себя. — Ясно, будет. Только мне вот что непонятно. Вот когда ставят новый завод, на его здании пишут имена лучших строителей. Электростанцию — тоже самое. А как быть, когда люди построят коммунизм? Ведь это только так в газетах пишут — светлое здание коммунизма, а здания-то никакого не будет. Куда люди будут впи-

сывать имена лучших строителей? Как ты думаешь, Лешка?

— Чудак, — шепчет Лешка, и я невольно укорачиваю шаг, чтобы услышать его. — Все тут очень просто. Ведь строители заводов и электростанций — это и есть строители коммунизма. Зачем им еще ставить памятники и записывать их имена на какую-то другую стену? О них книги напишут.

Я молчу. Я все это прекрасно знаю и мне совсем не хочется сейчас мечтать и говорить о коммунизме. Мне просто нужно было услышать Лешку, чтобы узнать по его голосу, как он себя чувствует.

— Ребята!

Мы опускаем носилки. И опять все то же, но этот вынужденный отдых с каждым разом становится все длиннее и длиннее. Потом снова идем. Андрей впереди, я — позади.

— Не молчите, ребята, не молчите. Я прошу вас. Мне надо слушать вас. Больно, понимаете, больно. Горит.

Теперь мы знаем, о чем нужно говорить, и мы будем говорить теперь только об этом. И мы говорим. О том, что зря люди стыдятся мечтать о коммунизме, о том, что надо бить всякого, кто хихикает: «Терпи — при коммунизме все будет бесплатно».

— Ребята!

Солнце не выдержало и ушло. Не в силах помочь нам, оно упало за лес. Ему было жаль нас, но его время кончилось. Наступила темнота. Она ничего еще не знала о несчастье и окружила нас плотным кольцом, как городская толпа окружает пострадавшего на улице человека. Деревья, тесно прижавшись в страхе друг к другу, молчали. Небо, как халат фокусника, горело звездами. Небо было чистое, и звездам нечем было закрыться от нас, и они, вынужденные без конца смотреть на то, как мучается Лешка, испуганно дрожали.

Лешка метался, бредил: — Хватит! — кричал он. — Хватит! Отодвиньте костер. Палатка сгорит, отодвиньте костер. Жарко! Ой, жарко! Идиоты! Э-э-эх!

Его руки ползали по животу, а ноги, свесившись с носилок, загребали воздух. Я шел опять позади, и мне было труднее, чем Андрею. Потом Лешка умолк, но через несколько минут заговорил снова, и его голос звучал спокойно и ласково.

— Это ничего, — говорил он. — Это пустяки. Ты напиши... ты напиши, Ленка. Я жду и жду. Тише. Замолчите все. Я хочу поговорить с ней. Я вас прошу. Тише. Я не видел, что дерево падает. Будто разрезало пополам. Нет, это днем. Неужели ты в самом деле не слышишь? Ленка! Ленка! Ленка! Слышишь?

Да-да, я забыл. Ты не здесь. Ты осталась там. Конечно, не слышишь. Забавно. Я говорю, а ты не слышишь. Я тоже не слышал. Если бы я слышал... Я не слышал. Тише. Ни разу... Я тебя ни разу не поцеловал. А я хотел... Ребята называли меня теленком. Глупо. Был выпускной вечер. Здорово было. И я подумал, что можно. Ты смеялась. Ты не уходи — я сейчас вспомню. А-а-а... вот как. В саду... Я хотел поцеловать тебя. Не-е-ет, я не обижаюсь. Ты сказала, чтобы я потренировался с табуреткой, а потом лез к тебе. Я в самом деле не обижаюсь.

И Лешка улыбнулся.

А мы шли и шли.

— Честное слово. Я ни разу никого не целовал. Я хотел тебя первую. Опять шумят. Ты меня слышишь? Совсем никого. Ты не думай, что я жалею, не-е-ет. Почему ты не пишешь? Я пишу. Я бы тебя встретил. Я встречу. У нас хорошо. Встречу и поцелую. Когда встречаются, можно — ведь правда? Тише. Что ты сказала? Ничего не слышно.

А мы по-прежнему шли и шли. Я вдруг вспомнил о том, что зимой, когда мы учились в десятом классе, Лешке очень хотелось заболеть и попасть в больницу, чтобы узнать, любит его Ленка или нет. Он бегал тогда без пальто, потный выскากивал на мороз в одной рубашке, но ничего, кроме насморка, получить не мог. Мы смеялись над ним, а он злился. И вот теперь он попадет в больницу, а Ленки здесь нет, и она не прибежит к нему, не принесет баночку малинового варенья — то, что Лешка больше всего любил.

Нам с Андреем Ленка не нравилась. Мы знали, что она красивая и умная, но считали, что лучше с такими не связываться. Она была из тех, кому каждый день нужно что-нибудь новое, интересное, кто не умеет и не может привязаться к чему-нибудь одному и быть постоянным в своих вкусах и привязанностях. Лешка это тоже знал, но все равно он любил ее и писал ей письма, на которые она не отвечала.

Мы шли и шли, разрывая ночь. Наши ноги увязали в темноте, наши глаза не могли пробить ее толщи. Ночь лежала на земле толстым, темным одеялом. Мы запутались в нем. Мы устали. Мы молчали. Но Лешка не молчал. Никогда еще он не говорил так много. Он то кричал, когда боль хватала его за горло, то переходил на шепот, когда она спускалась передохнуть. Он разговаривал и с матерью, и с Ленкой, и с нами. Когда он разговаривал с нами, мы все равно молчали. Хотелось ответить ему, но мы знали, что он не услышит. И мы шли молча.

Потом показалась река, и мы свернули на твердую дорогу. Оставалось около двадцати километров. Лешка молчал. Мы даже не заметили, как стих его шепот. Мы думали, что ему стало легче. Дорога рвалась то в одну, то в другую сторону, но мы находили ее и старались придавить к земле ногами. Река дышала прохладой. Я устал. Я здорово устал. «Неужели ты не сделаешь еще один шаг, — думал я, — всего один шаг?» И я выбрасывал вперед одну ногу, потом вторую. Правую и левую. Одну и вторую.

Лешка молчал.

И вдруг нам стало страшно. Мы остановились и положили носилки на землю. Андрей взял Лешку за руку. Он держал ее и смотрел на меня. Лешка не двигался. Я не поверил. «Не может быть, — рванулась в мозгу мысль. — Он просто спит». Я медленно опустился перед Лешкой и взял его за вторую руку. Она была послушной и мягкой и уже не пульсировала.

Мы поднялись одновременно. Мы не кричали и не плакали. Мы стояли караулом с обеих сторон возле Лешки и молчали. Я смотрел в ту сторону, где спал город, и я думал о том, что сегодня нам придется отправить Лешкиной матери телеграмму, которая сразу, одним ударом собьет ее с ног, а через несколько дней придет письмо от Лешки. И она много раз будет приниматься за него, прежде чем дочитает до конца.

Я помню все, помню до боли ярко и точно все мелкие линии подробностей, но я не помню сейчас, кто из нас первый лег рядом с Лешкой. Мы устали. Мы лежали на земле, сдавив его между собой, крепко-накрепко обняв Лешку, чтобы согреть его своим теплом.

Рядом всхлипывала река. Слезливо мигали звезды. Луна не отвела от нас взгляда. А мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, трое друзей, приехавших в Сибирь строить коммунизм.

Потом стало холодно, и я растолкал Андрея. Мы бережно, не говоря ни слова, подняли носилки и пошли. Впереди Андрей, позади я. Лениво тянулась дорога, прижатая сверху густой ватой тумана. Светало. Я неожиданно вспомнил о том, что забыл спросить Лешку о самом главном. Я не спросил его, будут ли знать при коммунизме о тех, чьи имена не вписаны на зданиях заводов и электростанций, кто так навсегда и остался незаметным. Мне во что бы то ни стало захотелось узнать, вспомнят ли при коммунизме о Лешке, который жил на свете немногим больше семнадцати лет и строил его всего два с половиной месяца.